

Николай Стэф



**Первый день
настоящей зимы**

Николай Стэф

Первый день настоящей зимы

«Автор»

2026

Стэф Н.

Первый день настоящей зимы / Н. Стэф — «Автор», 2026

Двадцать лет назад ученые из секретного комплекса «Север-17» открыли портал в неизвестность — область абсолютного нуля, где не действуют законы времени и физики. Они думали, что совершили прорыв. Они вскрыли могилу, запечатанную самой Вселенной. Холод вырвался наружу. Земля замерзает. Цивилизация рухнула. Андрей Корсаков, сын одного из создателей портала, всю жизнь скрывался от правды о родителях. Но когда волна аномального холода накрывает его город, а в ледяных узорах начинает проступать лицо погибшего отца, бежать больше некуда. Вместе с горсткой выживших на борту старого ледокола «Полярный Скиталец» Андрей отправляется в самое сердце вечной мерзлоты — чтобы узнать, что стало с его матерью, как закрыть дверь, которую открыли его родители и что делать, когда зима в твоей душе длится дольше, чем на улице. Это история о холоде, который убивает не тело, а веру в весну. «Настоящая зима — не та, что за окном. А та, когда человек перестает верить, что за ней придет весна».

© Стэф Н., 2026

© Автор, 2026

Николай Стэф

Первый день настоящей зимы

Пролог

Вы когда-нибудь задумывались, что самое страшное в холоде?

Нет, не то, что вы подумали. Не обмороженные пальцы, которые чернеют и отваливаются, как переспелые виноградины. Не ледяные иглы в легких, когда каждый вдох режет изнутри, будто глотаешь битое стекло. И даже не та тихая, почти уютная дремота, которая приходит перед самой смертью — когда тело сдаётся и решает, что быть ледяной статуей, в общем-то, не так уж и плохо.

Самое страшное в холоде — это его терпение.

Холод никуда не спешит. Он не кричит и не машет руками, как тот парень в баре, который выпил лишнего и теперь ищет неприятности на свою задницу. Холод просто приходит. И ждет. Он может ждать годами. Десятилетиями. Тысячелетиями. Вы думаете, ледники спешат? Чушь. Ледник движется со скоростью роста ногтей — но попробуйте остановить его, когда он уже решил, что этот кусок земли отныне его.

Вот что забыли учесть умные люди в белых халатах из научно-исследовательского комплекса «Север-17». Они привыкли, что у природы есть срок годности. Что зима длится три месяца, а потом, хочешь ты того или нет, приходит оттепель. Что за ночью следует утро. Что за смертью — ну, хотя бы тишина.

Они ошибались.

Их ошибка была размером с черную дыру. Буквально.

Засекреченное конструкторское бюро — это звучит почти романтично, да? Как в шпионских романах, которые продаются в аэропортах. Там обычно высокие лбы, строгие женщины в очках и обязательно кто-то с папкой, на которой написано «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

Реальность, как водится, оказалась скучнее и страшнее одновременно.

Бюро располагалось на глубине двухсот метров под гранитными породами где-то на севере Сибири. Если точнее — в ста сорока километрах от побережья Ледовитого океана, там, где даже летом земля оттаивает только на штык лопаты, а комары размером с большой палец пьют кровь так жадно, будто знают, что жить им всего три недели.

Добираться туда было тем еще приключением. Сначала самолет до Норильска. Потом вертолет до поселка, которого нет ни на одной карте — и не потому, что его специально скрывали, а потому, что составители карт просто не знали, что он существует. Потом два часа на вездеходе по кочкам, которые даже при минус сорока не становятся ровными. И наконец — длинный, пахнувший чем-то странным лифт, который опускал тебя в чрево планеты с таким чувством, будто ты спускаешься в собственную могилу.

Внутри было светло, стерильно и пахло дешевым кофе из автомата на третьем этаже. Там работали лучшие умы страны. Физики, которые могли рассчитать траекторию электрона на салфетке в ресторане. Математики, решавшие уравнения в уме, пока обычные люди считали сдачу в магазине. Инженеры, которые чинили спутники зубочистками и жвачкой, если это было нужно для дела.

Десять лет. Целая жизнь. Некоторые из них приехали сюда тридцатилетними, полными энтузиазма и надежд, а теперь смотрели в зеркало на седых, уставших людей, которые забыли, как выглядит настоящее небо — не тот кусочек синевы, который видно через три метра гранита, а настоящее, бесконечное, с облаками и звездами.

Десять лет они создавали дыру.

Портал. Они называли его «Изгибатель» — прозаично, как-то по-советски, без пафоса. Визуально он напоминал миниатюрную черную дыру — сферу размером не более двух метров, которая висела в центре лаборатории, окруженная электромагнитными катушками. Она пульсировала. Медленно. Равномерно. Как сердце спящего кита.

Синеватое свечение исходило от нее — такой цвет бывает у электрической дуги, когда сварщик работает без маски и потом три дня не может уснуть, потому что перед глазами все плывет фиолетовыми пятнами. Оно отражалось от белых стен, от полированных полов, от защитных стекол шлемов — и вся лаборатория казалась огромным аквариумом, наполненным жидким призрачным светом.

Красиво. Очень красиво.

Как динамитная шашка с замедленным детонатором.

Теория была изящной. До боли, до зубовного скрежета изящной.

Вы берете пространство-время — эту резиновую простыню, на которой лежат звезды и галактики. Вы находите место, где ткань достаточно тонкая. И вы продельваете в ней дыру. Не разрываете — это грубо. Не режете — это вульгарно. Вы прокалываете. Аккуратно. Точно. Как хирург, который делает прокол для катетера.

Дыра должна была вести в другую точку Вселенной. Возможно, на противоположный край Млечного Пути. Возможно, в соседнюю галактику — в Андромеду, например, которая и так через пару миллиардов лет врежется в нашу, так почему бы не познакомиться заранее? Возможно, вообще в другую вселенную, где гравитация — это отталкивание, а время течет задом наперед, как в кино, когда пускают пленку в обратную сторону.

Ученые строили теории. Писали статьи, которые никогда не увидят свет. Считали, спорили, ругались, мирились за чашкой чая и снова считали. Они были счастливы — по-своему, по-научному, той сложной, истерзанной радостью, которая появляется только у людей, стоящих на пороге великого открытия.

Они не знали главного.

Они думали, что открыли дверь. А на самом деле вскрыли могилу.

Древнюю могилу. Запечатанную самой Вселенной в тот самый момент, когда она только-только родилась и еще не успела толком понять, что к чему.

Ткань пространства-времени не просто тонкая в одном месте. Она там больная. Надрезанная. И этот надрез — не случайность природы. Это шрам. Оставшийся от чего-то, что случилось в первые микросекунды после Большого взрыва.

Что именно случилось? Хороший вопрос. Задайте его тому, кто выжил.

По ту сторону дыры не было Андромеды.

Не было звезд. Не было планет. Не было даже тех микроскопических частиц, которые физики называют «темной материей» — просто потому, что не знают, как ее назвать иначе.

Там была пустота.

Не та пустота, которую вы представляете, когда закрываете глаза в тихой комнате. Эта пустота была абсолютной. Ни энергии. Ни излучения. Ни движения. Ни времени.

Понимаете? Времени там просто не существовало. Как физической величины. Как измерения. Вы могли бы просидеть в другом мире — так потом назовут это место — тринадцать с половиной миллиардов лет, и для вас не прошло бы и секунды. Ваши часы не остановились бы. Они просто перестали бы иметь смысл, как перестает иметь смысл скорость у неподвижного камня.

Температура стремилась к абсолютному нулю. Минус двести семьдесят три и пятнадцать сотых градуса Цельсия. Та температура, при которой останавливаются атомы. Та температура, которая существует только в формулах и в самом холодном месте Вселенной — туманности Бумеранг, где градусов на два теплее, чем здесь. Это удалось выясниться при помощи первых зондов.

Здесь, в совершенно другом мире, царила настоящая зима.

Зима, которая длится тринадцать целых и восемь десятых миллиарда лет. С самого начала. С того самого мгновения, когда Вселенная сказала: «Да будет свет», а где-то в темном углу прошептала: «Но не для всех».

Ученые не знали этого.

Они думали, что их портал светится синим, потому что так положено квантовым флуктуациям. На самом деле он светился, потому что холод пытался выбраться. Искал любую щель. Любую дыру в заборе, которым Вселенная огородила свой самый страшный секрет.

Они открыли эту дыру.

И холод вышел на свободу.

Первые признаки были такими незначительными, что их приняли за сбой в системе климат-контроля.

Иней на стенах лаборатории. При комнатной температуре. Красивый, узорчатый, как на окнах в детстве — только появлялся он не зимой, а в середине июля, когда снаружи, на поверхности, хотя бы раз в году можно было ходить без шапки.

Младший техник Петр Сидоренко, двадцатитрехлетний парень с прыщавым лицом и вечно мокрыми ладонями, первым заметил странность. Он мыл пол — обычная уборка, ничего особенного — и увидел, как вода замерзает прямо под тряпкой. Не в луже, нет. Прямо в процессе. Тряпка стала жесткой, заледенела у него в руках, и Петя, глупо улыбаясь, показал коллегам:

«Смотрите, фокус!»

Никто не засмеялся. В «Севере-17» работали серьезные люди, и фокусы их не впечатляли. Уборщицу, которая оставила сквозняк, лишили премии. Петю отправили за новой тряпкой. Инцидент занесли в журнал под заголовком «аномальное тепловыделение» — потому что объяснить замерзание воды в теплом помещении можно было только одним: откуда-то шел холод, такой сильный, что он выигрывал битву у тепла.

Холод шел из портала.

Сначала радиус поражения составлял пару метров. Потом — пять. Потом — десять. Электромагнитные катушки, которые должны были удерживать дыру в стабильном состоянии, начали покрываться инеем. Криогенные установки, созданные для охлаждения портала, вдруг стали бесполезны — потому что портал охлаждал себя сам, и делал это куда эффективнее любых человеческих механизмов.

Через неделю в лаборатории нельзя было находиться без специального костюма. Через две — костюмы перестали помогать. Холод проходил сквозь любую изоляцию. Он был не физическим — он был метафизическим.

Вы можете укутаться в три шубы, включить обогреватель, завернуться в одеяло — и все равно будете чувствовать, как этот холод проникает в ваши кости. Потому что он не просто понижает температуру. Он отнимает саму идею тепла. Он убеждает ваше тело, что быть теплым — это ненормально, неправильно, что единственное естественное состояние для всего живого — это лед.

Тогда они еще не знали, что это только начало.

Земля — удивительная штука. Она кажется такой большой, такой надежной, такой устойчивой. Мы строим на ней города, прокладываем дороги, пашем поля, хороним мертвых. И нам все время кажется, что она никуда не денется.

Но Земля — это просто шар. Большой, тяжелый, но все-таки шар. И у этого шара есть своя температура, свой баланс, свое хрупкое равновесие между теплом и холодом, которое складывалось миллиарды лет.

А теперь представьте, что кто-то взял и пробил в этом шаре дыру. Маленькую, размером пару метров. И из этой дыры дует.

Дует холод, которого не должно существовать в природе.

Погодные системы рухнули первыми. Циклоны и антициклоны — эти гигантские атмосферные вихри, которые перегоняют воздух с места на место и создают погоду, — просто перестали формироваться. Как будто кто-то выключил вентилятор. Атмосфера замерла. Облака повисли неподвижно, как на детском рисунке. Ветер стих — сначала в Сибири, потом в Европе, потом по всей Северном полушарии.

Температура поползла вниз.

Сначала это были десятые доли градуса. Их списали на сезонные колебания, на солнечную активность, на что угодно, только не на портал в Сибири, о котором никто не знал. Потом — градусы. Потом — десятки градусов.

В Норильске, в октябре, ударил мороз минус пятьдесят. В Москве, в ноябре, выпал снег — но не обычный, а какой-то сухой, колючий, похожий на песок. Он не таял даже при плюсовой температуре. Он просто лежал на земле и ждал.

Океаны остывали. Это самое страшное, если подумать. Океаны — это гигантские тепловые аккумуляторы. Они сглаживают климат, делают зимы мягче, а лето не таким жарким. Но когда океан начинает остывать — процесс почти невозможно остановить. Вода держит тепло в десять раз лучше воздуха. Океан может хранить летнее тепло всю зиму. Но если этот запас иссяк...

Северный Ледовитый океан замерз целиком к декабрю. Не только сверху, как обычно, — а почти на всю глубину. Айсберги стали обычным делом у берегов Англии. В Ла-Манше плавали льдины, и паромы не могли ходить.

Реки останавливались. Грандиозное зрелище, если смотреть со стороны: могучая река, которая текла тысячи лет, вдруг замирает, превращается в ледяную артерию. Лед растет снизу, от дна, потому что вода там холоднее. Он поднимается, раскалывает берега, вырывает деревья с корнями. А потом наступает тишина.

Тишина — это, пожалуй, самое жуткое. Когда замерзает река, исчезает звук воды. Вы не слышите этого вечного шепота, к которому привыкли за миллионы лет эволюции. Вы слышите только ветер — но ветра тоже почти нет.

Тишина. Лед. Холод.

И никаких признаков весны.

Люди — удивительно живучие твари. Мы выживали в джунглях, в пустынях, в арктических льдах. Мы изобретали огонь, строили дома, шили одежду из шкур. Мы думали, что нас ничем не удивить.

Мы ошибались.

Потому что нельзя построить убежище от холода, который приходит изнутри. Нельзя согреться у костра, если холод находится в твоей крови. Нельзя поверить в весну, если зима стала вечной.

Миграция началась в декабре. Сначала потихоньку, отдельными семьями — те, кто поумнее, те, кто почувствовал неладное раньше других. Они грузили детей и стариков в машины и ехали на юг. В Турцию. В Грецию. В Египет. Туда, где солнце, где нет снега, где хотя бы теоретически можно переждать этот странный холодный год.

Но Египет замерз в январе. Каир, город, который не видел снега тысячу лет, проснулся однажды утром под белым покрывалом. Люди выходили на улицу и фотографировались на фоне пирамид в снегу — смеялись, бросались снежками, радовались, как дети. Они не знали, что это последнее веселье в их жизни.

Через неделю в Каире было минус пятнадцать. Вода в Ниле — великой реке, кормилице цивилизации — начала замерзать. Рыба всплывала брюхом вверх, застывая в причудливых позах. Фермеры пытались спасти урожай — но урожай уже превратился в лед прямо на корню.

К февралю холод добрался до экватора.

Экватор. Представляете? Линия, где солнце бывает в зените два раза в год, где никогда не было снега, где живут растения и животные, которые даже теоретически не знают, что такое «мороз». В Кении, в Уганде, в Индонезии люди умирали тысячами. Их тела просто не были приспособлены к такой температуре. Они ложились спать в своих легких рубашках и уже не просыпались.

К марту замерзли океаны на всей планете. Не полностью — глубины еще хранили тепло, — но поверхность превратилась в ледяную корку. Корабли вмерзали в лед на ходу. Огромные танкеры, контейнеровозы, круизные лайнеры застревали посреди океана, и спасательные вертолеты не могли к ним пробиться, потому что топливо замерзло в баках.

В апреле остатки человечества спустились под землю.

Метро. Бункеры. Пещеры. Геотермальные станции — единственные места на планете, где еще было тепло, потому что тепло шло из ядра Земли, которому наплевать на погоду. Люди жили в тесноте, в темноте, воняло мочой и страхом. Они ссорились из-за еды, из-за места у батареи, из-за права просто сидеть в тишине и не сходить с ума.

Им казалось, что хуже уже быть не может.

Они еще не знали, что это только цветочки.

В глубине научно-исследовательского комплекса «Север-17», в кабинете на пятом подземном этаже, сидел человек.

Его звали Виталий Корсаков.

Если вы встретили бы его на улице — ну, скажем, лет десять назад, когда еще существовали улицы, — вы бы не обратили на него внимания. Среднего роста. Среднего телосложения. Волосы русые, с ранней сединой. Очки в тонкой металлической оправе. Всегда в свитере под лабораторным халатом — даже в жару, даже в летние месяцы, когда в Сибири бывает плюс тридцать, он ходил в этом свитере, потертom на локтях, с маленькой дырочкой на животе.

Он не был красавцем. Он не был обаятельным. Он не был тем героем, которого показывают в кино — широкоплечим, с квадратной челюстью и горящими глазами. Виталий Корсаков был просто очень, очень умным человеком. И очень, очень уставшим.

Сейчас, через двадцать лет после того, как все пошло прахом, он выглядел еще старше своего возраста. А было ему — когда он смотрел на календарь, который до сих пор висел на стене, хотя никто не менял в нем страницы уже бог знает сколько — пятьдесят семь.

Седые волосы торчали в разные стороны, будто он постоянно проводил по ним рукой, не замечая этого. Глубокие морщины прорезали лоб, и в них, казалось, навсегда поселилась усталость. Под глазами залегли темные круги — следствие бессонных ночей, которых было так много, что они сплелись в одну непрерывную, бесконечную ночь без сна.

Но самым страшным в его лице были глаза.

Когда-то они горели. В буквальном смысле — у него была такая особенность: когда Корсаков увлекался какой-то идеей, в его глазах появлялся этот странный, почти болезненный блеск, который пугал студентов и восхищал коллег. «Глаза безумного гения», — шутила Елена. Его жена. Его лучший друг. Его единственная любовь.

Сейчас эти глаза были потухшими. Не просто уставшими — потухшими. Как угли в давно остывшем костре. Как лампочки, которые перегорели и уже никогда не зажгутся снова. Он смотрел ими на мир, и мир отвечал ему тем же — пустотой, холодом, безразличием.

Он сидел за своим столом. Тот же самый стол, за которым он проводил бессонные ночи двадцать лет назад, когда еще можно было что-то исправить. Тот же самый стул, который скрипит, если откинуться на спинку. Та же самая лампа с зеленым абажуром, которая бросает желтоватый свет на стопки бумаг.

На столе лежало письмо.

Оно пролежало здесь двадцать лет. В ящике. Под стопкой научных отчетов с грифом «Совершенно секретно», которые теперь были просто никому не нужной макулатурой. Корсаков вытащил его сегодня — впервые за двадцать лет. Конверт пожелтел, бумага стала хрупкой, как сухой лист. На конверте стояло имя, написанное твердым, уверенным почерком: «Лена».

Он не отправил его тогда. Сначала не успел. Потом было поздно. Потом — бессмысленно. А потом он решил, что оставит его сыну. Тому самому сыну, которого он не видел уже бог знает сколько лет, потому что мальчика эвакуировали в один из подземных городов, и связь с ним прервалась в первые же дни.

Он надеялся, что когда-нибудь сын найдет это письмо.

Что прочтет.

Что поймет.

Что простит.

Идиот. Надежда — это, наверное, самая жестокая штука, которую придумала эволюция. Она заставляет вас верить, что завтра будет лучше, даже когда все факты говорят об обратном. Она заставляет писать письма, которые никто никогда не прочтет. Она заставляет жить, когда жить уже незачем.

Корсаков развернул письмо. Бумага хрустнула, и один уголок отломился. Он поднес лист поближе к лампе и начал читать. Свои же слова. Написанные двадцать лет назад. В тот день, когда он понял, что потерял Елену навсегда.

Вот что там было написано:

«Лена.

Ты ведь даже не прочтешь этого. Потому что тебя больше нет. А если ты каким-то чудом читаешь эти строки, значит, я ошибся, и чудеса все-таки случаются. Но я в них не верю. Не после всего.

Помнишь, мы спорили с тобой о зимах? Ты говорила, что настоящая зима — это та, что приходит в душу. Я смеялся. Говорил, что зима — это просто погода, а все остальное — от неумения одеваться по погоде. Какой же я был дурак.

Есть зима календарная — с первого декабря по двадцать восьмое февраля. Есть зима климатическая — когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. А есть зима настоящая — когда человек перестает верить, что за ней придет весна.

Сегодня первый день такой зимы. Не на улице — в моей душе.

Я не должен был тебя отпускать. Я должен был привязать тебя к стулу, запереть в кабинете, сделать что угодно, только чтобы ты не пошла в этот проклятый портал. Но я позволил тебе уйти. Потому что ты сказала: «Кто, если не я?». Потому что я знал — ты все равно не послушаешься. Потому что, может быть, в глубине души, я надеялся, что ты права. Что ничего страшного там нет. Что мы просто откроем новую эру.

Мы не открыли новую эру. Мы открыли холодильник самой Вселенной. И теперь все это замерзает. Из-за меня. Из-за нас. Из-за той дурацкой идеи, которую я выносил в себе десять лет, пока она не созрела до размеров чудовища.

Я не прошу у тебя прощения. Я уже понял, что его не существует — по крайней мере, не на этой стороне портала. Я просто хочу, чтобы ты знала: я люблю тебя. Я любил тебя с первого дня, как увидел на кафедре. Я любил тебя, когда мы спорили до хрипоты. Я любил тебя, когда ты надевала этот свой ужасный синий халат, в котором была похожа на космонавта из дешевого фильма. Я люблю тебя сейчас, когда пишу эти строки, хотя знаю, что ты их никогда не прочтешь.

Наш сын... Даже не знаю, что сказать про него. Он вырастет без матери. И, возможно, без отца. Потому что я не знаю, смогу ли я смотреть ему в глаза, зная, что это я все разрушил. Пусть сам решает.

Лена, если там, куда ты ушла, есть хоть какой-то свет — согрейся им. Потому что здесь, на этой стороне, становится все холоднее. И я боюсь, что скоро будет уже нечем дышать.

Прощай.

Виталий.

P.S. Я все равно найду способ тебя вернуть. Даже если для этого придется сжечь дотла этот проклятый портал. Даже если для этого придется стать таким же чудовищем, как он. Я верю, что чудеса возможны. Наверное, это единственное, что у меня осталось — вера в невозможное».

Он отложил письмо.

Посидел, глядя на желтую лампу, пока глаза не начали слезиться.

Потом сложил лист, сунул обратно в конверт и спрятал в ящик стола — поверх отчетов, поверх старых чертежей, поверх забытых чужими руками научных трудов.

Вернется ли за ним сын?

Корсаков не знал.

Но одно он знал точно: пока это письмо существует, пока есть хоть один человек, который его прочтет, — есть и надежда. А надежда, как известно, умирает последней.

Даже в самую долгую, самую холодную зиму.

Позже — намного позже, когда лед отступит (но не растает, нет — просто перестанет наступать дальше), когда люди научатся жить в новом мире, где зима — это не сезон, а постоянное состояние, — они назовут эту дату по-разному.

Одни назовут ее Днем Тихого Льда. Потому что холод пришел не с грохотом, не с землетрясениями, не с ураганами. Он пришел тихо. Бесшумно. Как сон. Как забытье. Как то, что не замечаешь, пока не становится слишком поздно.

Другие назовут ее Апрельским Судом. Потому что это случилось в апреле — месяце, который всегда символизировал обновление, весну, жизнь. И этот месяц стал месяцем смерти. Люди увидели в этом знак. Карру. За гордыню. За то, что человек посмел покорить то, что должно было оставаться тайной.

Третьи — их было меньшинство, циники и прагматики — называли ее просто «началом конца». Потому что не видели смысла в красивых названиях. Какая разница, как назвать апокалипсис? От этого он не становится менее апокалиптическим.

Но те, кто выжил — кто спустился под землю, кто научился выращивать грибы при свете ламп, кто забыл вкус свежего хлеба и вид зеленой травы, — те называли ее иначе.

Они называли ее Первым днем настоящей зимы.

Потому что после нее никто уже не был уверен, что весна вообще существует.

Потому что весна — это не просто календарь. Это обещание. Это уверенность, что после холодов придет тепло, после тьмы — свет, после смерти — что-то еще, даже если это что-то — просто тишина.

Когда умирает надежда на весну — умирает все.

Наука? Бесполезна, если холод не слушается законов физики.

Религия? Бесполезна, если боги молчат — или их просто нет.

Любовь? Она согревает, но только изнутри. А снаружи становится все холоднее.

И вот вы сидите в подземелье, закутавшись в одеяла, и слышите, как стены покрываются инеем. И вы не знаете, будет ли завтра. И даже если будет — вы не уверены, что хотите его встречать.

Это и есть настоящая зима.

Та, о которой писал Корсаков в своем неотправленном письме.

Зима, которая длится не три месяца. Не три года. Не три десятилетия.

Она длится столько, сколько длится отчаяние.

А отчаяние, как выяснилось, может длиться вечно.

Глава 1

Двадцать лет.

Для одного человека это — целая жизнь. Он успевает вырасти, закончить школу, влюбиться, разлюбить, облысеть, отрастить живот, посмотреть все сезоны «Симпсонов» хотя бы три раза. Для другого двадцать лет — это просто долгий сон с перерывами на еду и туалет. Для третьего — это мгновение, одно единственное мгновение между вдохом и выдохом, после которого уже ничего не имеет значения.

Для Земли двадцать лет — это вообще ничто. Геологическая секунда. Космологическая погрешность. Всего лишь двадцать оборотов вокруг Солнца, а Солнце, между прочим, и не заметило. Оно по-прежнему светит, по-прежнему греет — по крайней мере, пытается. Но проблема не в Солнце.

Проблема в том, что Земля перестала удерживать тепло.

Представьте себе человека, у которого открылась внутренняя рана. Он может лежать под тремя одеялами, рядом может топиться печь, в комнате может быть двадцать пять градусов — но он все равно будет мерзнуть. Потому что холод идет изнутри. Потому что кровь уходит, потому что организм сдаётся, потому что что-то важное, что-то самое главное, сломано.

Земля истекала теплом двадцать лет.

И самое страшное — она делала это неравномерно.

Вы наверняка думаете, что вечная мерзлота — это скучно. Что она наступает медленно, методично, сантиметр за сантиметром, как армия, которая не торопится, потому что уверена в своей победе.

Ничего подобного.

Реальность оказалась куда более жестокой и непредсказуемой. Холод наступал рывками. Без предупреждения. Без какой-либо логики.

Слишком больно. Каждый новый год напоминал о том, сколько еще зимы впереди. Но если кому-то очень нужно знать — в первый год после Открытия, когда мир еще надеялся на скорое потепление и ученые в телевизорах с умным видом рассуждали об аномальном циклонном явлении, — холод накрыл Скандинавию за семь часов. Семь часов. От плюс двенадцати до минус сорока. За то время, пока семья собиралась на ужин, пока дети смотрели мультики, пока собака просилась на улицу — Норвегия, Швеция, Финляндия и Дания превратились в ледяную пустыню.

Триста тысяч человек погибли в первую ночь.

Их находили в странных позах. Человек, который чистил зубы — так и застыл с зубной щеткой во рту. Мужчина, который смотрел телевизор — замер на диване с пультом в руке, будто уснул. Женщина, которая кормила грудью младенца — они замерзли вместе, мать и дитя, соединенные в последнем, самом отчаянном акте любви, какой только способен человек.

Никто не ожидал. Никто не был готов.

Год спустя — ровно через год, как будто холод действовал по календарю, — настала очередь Китая. Тридцатиградусная жара сменилась минус двадцатью за один день. Шанхай, город с двадцатью четырьмя миллионами жителей, превратился в гигантский морозильник. Метро, которое всегда было переполнено, стало братской могилой для тех, кто пытался спастись под землей. Они думали, что там теплее. Они ошибались.

Потом был перерыв. Полгода тишины. Люди начали надеяться — глупцы, вечные оптимисты, которых не исправит даже конец света. Они решили, что худшее позади, что холод достиг своего предела, что теперь можно выдохнуть.

А потом за три часа замерзла Африка.

Вся. От Средиземного моря до мыса Доброй Надежды. Как будто кто-то огромный взял и перевернул холодильник, и тот опрокинулся прямо на континент. Саванна покрылась инеем. Баобабы, которым было по тысяче лет, лопались от мороза. Слоны замерзали насмерть, стоя вокруг пересохших водоемов, и их огромные тела потом находили через месяц — уже не серыми, а белыми, покрытыми толстым слоем льда, похожими на памятники исчезнувшему миру.

Почему так? Почему не равномерно? Почему не постепенно, как предсказывали компьютерные модели, которые до сих пор крутились на забытых серверах в никому не нужных научных центрах?

Никто не знал.

Теорий было множество. От почти разумных — «Какая-то неизвестная энергия пульсирует, её активность зависит от неизвестного нам цикла» — до откровенно безумных — «это кара божья, и Господь замораживает Землю кусками, чтобы мы успели осознать свои грехи».

Безумная теория имела больше последователей, чем хотелось бы признать. Когда мир рушится, люди хватаются за любую соломинку. За любого идола. За любую сказку, которая объясняет хаос и делает его хоть немного более осмысленным. Потому что хаос без смысла — это слишком страшно. Это значит, что никто не управляет рулем. Это значит, что ты можешь сделать все правильно — утеплиться, запастись едой, уехать подальше от больших городов, — и все равно замерзнуть насмерть в собственном доме, потому что холод решил навестить именно твой район, именно сегодня, именно в три часа ночи.

Ученые — те, которые выжили, которые продолжали работать в подземных лабораториях при свете аккумуляторных ламп, — выдвигали десятки гипотез. Одна звучала страшнее другой.

И никто — слышите? — никто не мог сказать точно, какой район будет заморожен следующим.

Завтра. Сегодня. Через час.

В любую минуту зима могла постучаться в твою дверь.

И у нее не было отмычки. Только таран.

Третье апреля.

Андрей Корсаков не знал, что сегодня день рождения его матери.

И, честно говоря, не особо хотел знать.

Он вообще старался не думать о родителях. Слишком больно. Слишком... пусто. Представьте себе пазл, в котором не хватает двух центральных кусочков. Вы можете сложить края, можете подобрать все остальные детали, но картинка никогда не будет целой. В ней всегда будет эта зияющая дыра, эта пустота, которая делает бессмысленными все ваши усилия.

Андрею было двенадцать, когда мир начал замерзать. Не в тот самый первый день, когда погибла мать, — о ней он узнал позже, и то случайно, из обрывка разговора, который не предназначался для его ушей. А когда холод стал настоящей проблемой. Когда школы начали закрываться одна за другой, когда отменили летние каникулы, потому что лета больше не было, когда его отправили в приют — «временно», как сказали опекуны, «пока твой отец не разберется со своей работой».

Отец так и не разобрался.

Или разобрался, но это уже не имело значения.

Приют был старым зданием, построенным еще в советские времена, с толстыми стенами и маленькими окнами. Там было тесно, темно и всегда пахло капустой — то ли суп варили каждый день, то ли дети сами собой так пахли, Андрей так и не понял. Воспитатели были добрыми, насколько это возможно, когда у тебя сорок детей на шее и обогреватель, который постоянно ломается. Они старались оградить малышей от страшных новостей — выключали

радио, когда начинали передавать сводки о погибших, прятали газеты с кричащими заголовками, запрещали старшим детям рассказывать младшим правду.

Но слухи все равно просачивались.

Как холод сквозит щели в окнах. Как вода сквозит треснувшую плотину.

Дети шептались по ночам, лежа на скрипучих кроватях, укрывшись одеялами с головой, чтобы воспитатели не услышали. Они рассказывали друг другу страшилки — не про черную руку и не про гроб на колесиках, а про настоящий ужас. Про города, которые замерзли за один час. Про людей, которые превратились в ледяные статуи. Про зверей, которые бродили по улицам, обезумев от холода и голода.

Андрей слушал и запоминал.

Он был тихим ребенком. Не из тех, кто лезет в драку или громко требует внимания. Он просто сидел в углу и смотрел. Смотрел на мир широко открытыми глазами, в которых уже тогда поселилась та странная, не по годам взрослая серьезность.

Он знал, что его отец — ученый. Что его мать — тоже ученый. Что они работали над чем-то важным, чем-то секретным, чем-то, что, возможно, (случайно, нечаянно, не подумав) и стало причиной всего этого кошмара.

Он не знал точно. Не был уверен. Но догадывался.

А догадки, как известно, часто бывают хуже правды.

Теперь Андрею было тридцать два.

Тридцать два года в мире, где весна — это воспоминание, которое передается из уст в уста, как древняя легенда. Тридцать два года в мире, где зима — это не сезон, а состояние души.

Он жил в небольшом северном городке.

Название не важно. Таких городков после Открытия стало сотни, если не тысячи. Маленькие, затерянные среди лесов и сопков, они ютились на карте, как дореволюционные монетки в кошельке — вроде бы есть, а вроде бы и нет. В них и до Апокалипсиса было холодно, и люди привыкли. Свитера, шапки, теплые сапоги — это не сезонная одежда, это образ жизни.

И здесь, в этом забытом богом и правительством месте, настоящий холод еще не добрался до города в полной мере.

Почему? Хороший вопрос. Андрей задавал его себе каждый день. Может быть, рельеф. Может быть, близость к океану. Может быть, просто везение — такое же случайное и необъяснимое, как и все остальное в этом мире.

Дела обстояли так: в городе работали магазины. Не как раньше — с яркими витринами и музыкой из динамиков, — но работали. Можно было купить хлеб, крупы, консервы. Иногда даже свежее мясо — если кто-то из смельчаков решался выйти на охоту и возвращался с добычей.

Работала школа. В полупустом здании, где из двадцати классов отапливались только три, но дети учились. Читали, писали, считали. Изучали историю — ту, что была до. И ту, что случилась после.

Работало даже кафе. Маленькое, пропахшее табаком и отчаянием, но в нем можно было выпить кофе — настоящего, молотого, которого с каждым годом оставалось все меньше, но пока еще можно было найти.

Люди верили. Нет, не в бога. Не в правительство. Не в науку. Они верили в то, что их район — один из последних безопасных уголков. Что холод, который уничтожил Африку и Китай, который заморозил Европу и Америку, почему-то обошел их стороной. Что они — избранные. Что они — счастливики. Что они — те, кто переживет.

Это была глупая вера. Беспочвенная. Иррациональная.

Но без нее они бы просто сошли с ума.

Андрей не верил. Он слишком хорошо знал статистику. Слишком много читал. Слишком много анализировал.

Он был климатологом. Ну, в некотором роде. Без диплома, без ученой степени, без защиты диссертации — всего этого мир больше не признавал. Но он разбирался в данных, понимал графики, чувствовал закономерности там, где другие видели просто хаос.

Местная метеостанция — жалкое подобие того, что было раньше, но все же — платила ему за анализ. Не деньгами, деньги уже давно ничего не значили. Продуктами. Теплыми вещами. Иногда — батарейками, которые стали ценнее золота.

Он сидел дома, в своей маленькой квартире на втором этаже старой пятиэтажки. Пил кофе — растворимый, с цикорием, без сахара. Смотрел на экран монитора — допотопного, с выпуклым кинескопом, который гудел и щелкал при включении.

На экране были цифры.

Температура. Давление. Влажность. Скорость ветра.

Обычные цифры. Скучные цифры. Такие же, как вчера и позавчера.

Минус двенадцать. Почти тепло по местным меркам.

Андрей сделал глоток кофе. Откинулся на спинку стула, который скрипнул под его весом — не так громко, как стул отца, но тоже с характером. Посмотрел в окно.

За окном был обычный день. Серое небо. Серые дома. Серые лица людей, которые шли по своим делам — в магазин, в школу, в никуда. Несколько машин стояли у обочины, покрытые тонким слоем изморози. Собака перебежала дорогу — лохматая, дворняжка, приспособившаяся к холоду лучше людей.

Обычный день.

А потом все изменилось.

Сигнал тревоги на мониторе был красным.

Андрей не сразу его заметил. Он привык, что датчики иногда барахлят — особенно старые, особенно в таком климате. Но этот сигнал был другим. Он не мигал, как обычно, а горел ровным, пульсирующим светом. Как сердце. Как тот самый портал, о котором Андрей тогда еще ничего не знал.

Он наклонился ближе к экрану. Протер глаза, которые начали слезиться от напряжения. Перечитал показания.

Температура: минус двенадцать.

Время: 14:03.

Температура: минус восемнадцать.

Время: 14:08.

Температура: минус двадцать семь.

Время: 14:23.

За двадцать минут — падение на пятнадцать градусов.

Это невозможно. Это физически невозможно. Даже в самую суровую зиму, даже при самом сильном арктическом вторжении, температура не падает так быстро. Так падает давление перед ураганом. Так падает самолет, у которого отказали двигатели. Так падает надежда, когда ты понимаешь, что все кончено.

Андрей замер.

Он смотрел на экран, и где-то глубоко внутри, в той части сознания, которая отвечает за интуицию и предчувствия, что-то щелкнуло. Встало на место. Как ключ в замке. Как последний кусочек пазла.

Он знал, что это значит.

Не понимал — знал. Чувствовал кожей, хотя кожа еще не ощутила холода. Чувствовал нутром, хотя желудок был полон кофе. Чувствовал тем древним, атактистическим чутьем, кото-

рое досталось нам от предков, которые бегали по саванне и знали: когда воздух становится таким — нужно бежать. Спасаться. Прятаться.

Он бросился к окну.

Андрей открыл форточку — только чуть-чуть, на пару сантиметров.

Воздух, который ворвался в комнату, обжег лицо. Не холодом — лезвием. Тонким, острым, безжалостным. Он резал щеки, резал губы, резал нос изнутри. Андрей никогда не нюхал нашатырь, но ему показалось, что этот воздух пахнет именно так — резко, химически, неестественно.

Он захлопнул форточку. Выдохнул. Облачко пара вырвалось изо рта и повисло в воздухе — там, где минуту назад было тепло.

В комнате начало холодать.

Датчики на мониторе продолжали падать.

Минус тридцать.

Минус тридцать четыре.

Минус тридцать девять.

Андрей отвернулся от окна. Сердце колотилось где-то в горле. Руки дрожали — от страха или от холода, он не мог разобрать.

Он знал, что нужно делать.

Правило, которое выучили все за эти двадцать лет. Главное правило. Единственное правило. Если есть хоть какой-то бог на небесах, если есть хоть какой-то смысл в этом безумии, запомните его, потому что оно может спасти вам жизнь:

Если вас накрыл аномальный холод — не стойте на месте. Не ждите, что он пройдет. Не надейтесь на чудо. Бегите. Бегите к любому укрытию, которое способно выдержать экстремально низкие температуры. Подземный бункер. Геотермальная станция. Корабль с автономным отоплением. Что угодно. Но не стойте. Потому что, если вы остановитесь — вы замёрзнете. Всегда. Быстро. Без шансов.

Андрей схватил телефон.

Старый, кнопочный, с треснутым экраном. Но работающий. Пока еще работающий.

Первым он набрал номер друга. Тот работал в обсерватории на горе Туманной — в сорока километрах от города, на вершине, где небо всегда было чище, а звезды — ярче. Если кто и мог объяснить, что происходит, так это он.

Гудок. Второй. Третий.

Четвертый. Пятый. Шестой.

Тишина.

Линия была мертва.

Не занята. Не вне зоны доступа. Мертва. Как будто кто-то перерезал кабель. Как будто сама гора Туманная исчезла с лица Земли — и вместе с ней исчез друг, и обсерватория, и все приборы, которые могли бы дать ответы.

Андрей стиснул зубы. Набрал второй номер.

— Андрей? — голос в трубке был напряженным, срывающимся на хрип. Но живым. Живым, черт возьми.

Сергей. Старый друг, с которым они вместе учились — ну, как учились, сидели в одной библиотеке, пока мир вокруг разваливался на куски. Серега работал на «Полярном Скитальце» — научно-исследовательском судне, которое стояло в порту, в трех километрах от квартиры Андрея. Корабль был старым, но на нем было тепло. На нем были генераторы. На нем можно было пережить этот ад.

— Ты чувствуешь? — спросил Андрей, перекрикивая треск в трубке. — С погодой что-то странное происходит. Похоже, у нас началось.

— Знаю, — голос Сергея дрожал. Не от холода — от страха. — У нас тут... Андрей, люди пытаются прорваться на корабль. Десятки. Сотни, может быть. Они лезут через ограждение, через трапы, через иллюминаторы. Охранники пытаются их сдерживать, но их слишком много. Женщины с детьми. Старики. Все в панике.

— Серега, я могу к вам?

Пауза. Слишком долгая пауза. Андрей услышал, как на той стороне кто-то кричит, как ломается металл, как бьется стекло.

— Давай, — голос Сергея стал тише, почти шепотом. — Только быстро. Я поговорю с капитаном, организую тебе проход. Но ты должен быть здесь через... — он замолчал, что-то прикидывая в уме. — Через час, максимум. Если опоздаешь — мы уже не сможем открыть шлюз. Слишком много народу. Капитан сказал, что через час поднимаем трапы.

— Я успею.

— Андрей... — Голос Сергея снова дрогнул. — Будь осторожен. На улице сейчас... я не знаю, как это описать. Это не просто холод. Это что-то другое. Воздух стал тяжелым. Дышать трудно. Не задерживайся, понял? Бегом.

— Бегом, — повторил Андрей и сбросил вызов.

Одеваться Андрей умел быстро.

Двадцать лет жизни в холоде приучили его к тому, что сборы не должны занимать больше трех минут. Сначала термобелье — тонкое, но плотное, из материала, название которого он забыл, но который работал лучше любой шерсти. Потом флисовая кофта. Потом свитер — толстый, вязаный, с высоким воротником, который закрывал половину лица. Потом куртка — пуховая, до колен, с капюшоном, отороченным искусственным мехом. Штаны — два слоя, утепленные. Носки — шерстяные, поверх них еще одни. Ботинки на толстой подошве, с мембраной, которая должна была сохранять тепло.

Перчатки. Шарф. Шапка. Баффа — трубка, которая закрывает шею и нижнюю часть лица, оставляя только глаза.

Он выглядел как космонавт. Как полярник. Как человек, который собирается выйти на улицу в минус шестьдесят.

Но сегодня было всего минус тридцать девять.

Пока что.

Андрей бросил взгляд на монитор. Минус сорок два. Температура продолжала падать.

Он застегнул молнию на куртке, уже собираясь выходить, когда взгляд упал на книжную полку.

Библиотека у Андрея была небольшая — штук пятьдесят книг, не больше. Фантастика, научная литература, старые журналы. Между полками, как грибы между камнями, торчали корешки вперемешку — никакой системы, никакого порядка, просто книги, которые он когда-то нашел, прочитал и пожалел выбросить.

Его взгляд наткнулся на старую общую тетрадь. В клеточку, с обложкой из коричневого дерматина, которая потрескалась и облупилась по краям. Без названия. Без подписи. Просто тетрадь, которую передали ему опекуны в приюте, вместе с короткой, ничего не объясняющей фразой:

«Твой отец погиб при загадочных обстоятельствах на работе. Нам передали его дневник. Оставь себе на память».

Тогда, в четырнадцать лет, Андрей не придавал этому значения. Он был подростком, который ненавидел отца за то, что тот его бросил, за то, что предпочел работу семье, за то, что мать (о которой он тогда почти ничего не знал) исчезла, а отец даже не приехал на похороны — потому что некому было хоронить, потому что тела не нашли, потому что секретный объект и секретные эксперименты, и секретные смерти.

Он сунул тетрадь на полку и забыл о ней на долгие годы.

Потом, уже повзрослев, однажды открыл. Пролистал. Прочитал несколько страниц.

Там было странное. Чертежи, которых он не понимал. Формулы, которые выходили за пределы известной ему физики. А еще — записи, сделанные отрывистым, нервным почерком. Словно человек, который их писал, торопился. Или боялся. Или и то, и другое вместе.

Одна запись привлекла его внимание. Короткая. Всего три строчки, обведенные жирной чертой:

«Если портал откроется снова — ищи убежище. Не на поверхности. Только под землей или в герметичном отсеке с автономным отоплением. Холод приходит не сверху. Он приходит из разрыва. И он не остановится, пока не поглотит все».

Тогда Андрей не понял. Решил, что отец был параноиком. Или что это учебные записи, гипотетический сценарий, не имеющий отношения к реальности.

Теперь, стоя в своей квартире, глядя на монитор, где температура падала все ниже, он понял.

Отец знал.

Знал задолго до того, как это случилось. Знал, что холод — не природное явление. Знал, что у него есть источник. Знал, что этот источник можно открыть снова. И закрыть — наверное, тоже можно, иначе зачем он писал про убежище?

Андрей схватил тетрадь с полки. Сунул во внутренний карман куртки. Будет время — почитает, всё ещё раз уже по внимательнее. Если время вообще будет.

На пороге он обернулся. Посмотрел на пустую квартиру, на запотевшее окно, на монитор, где продолжали падать цифры.

Минус сорок семь.

Закрыв дверь.

Не запер.

Какой смысл запирает дверь, если мир, который за ней, уже не имеет значения?

Улица встретила его тишиной.

Не той тишиной, которая бывает зимним утром, когда снег приглушает звуки и город кажется спящим. Эта тишина была другой. Злой. Глубокой. Казалось, сам воздух замерз, и звукам стало не в чем распространяться.

Первое, что заметил Андрей — люди.

Они лежали на тротуаре. На скамейках. На ступеньках магазина. В машинах с открытыми дверями.

Они не спали.

Мужчина в пуховике и меховой шапке застыл на середине шага. Одна нога в воздухе, другая на земле. Руки вытянуты вперед — может быть, он пытался удержать равновесие, может быть, звал на помощь. Его лицо было серым, восковым, покрытым тонкой коркой льда. Глаза открыты. В них — удивление. Как будто он до последнего не верил, что это происходит на самом деле.

Женщина с коляской упала на колени. Она успела наклониться вперед, закрыть ребенка своим телом — инстинкт, который сильнее любого холода. Теперь они были единым целым — мать и дитя, ледяная скульптура на тротуаре, памятник материнской любви и человеческой беспомощности.

Парень лет двадцати в тонкой куртке — наверное, думал, что успеет добежать, что холод не такой страшный, что с ним ничего не случится — сидел, прислонившись к стене кафе, с чашкой кофе в застывшей руке. Кофе замерз, не успев остыть. Парень замерз, не успев понять, что происходит.

Андрей шел быстро. Почти бежал. Он старался не смотреть на лица, не считать тела, не запоминать позы. Потому что, если бы он начал смотреть — он бы остановился. А если бы он остановился — он бы замерз.

Простая математика. Безжалостная, как сама зима.

Воздух был странным. Густым. Тяжелым. Каждый вдох давался с трудом — не потому, что не хватало кислорода, а потому, что воздух словно сопротивлялся, не хотел входить в легкие. Он был холоднее, чем должен быть. Холоднее, чем минус пятьдесят. Он был холодом, который не измеряется градусами. Это был холод как сущность. Холод как личность.

Дыхание вырывалось изо рта белыми клубами — но клубы эти не рассеивались, как обычно, а висели в воздухе, застывая в причудливые формы. словно сам пар отказывался улетучиваться, словно он тоже был частью этого нового, замороженного мира.

На стенах домов Андрей заметил иней.

Обычно иней — это тонкий, почти невесомый слой, который тает от одного прикосновения. Здесь иней был толстым. Пушистым. Он рос прямо на глазах, как плесень на ускоренной съемке. И он складывался в узоры.

Андрей остановился. На секунду. Всего на секунду.

Узоры были странными. Не теми обычными, природными — похожими на папоротник или на морозные цветы. Эти узоры были... осмысленными. Они напоминали символы. Знаки. Письменность, которой не существует ни в одной человеческой культуре.

Руны.

Андрей узнал их.

Не потому, что он был экспертом по древним алфавитам. А потому, что видел их раньше. В тетради отца. На полях, рядом с пометками другой мир и «разрыв пространства».

Тогда он решил, что это просто каракули. Заметки на полях. Бессмысленные рисунки уставшего человека.

Теперь эти же символы выросли на стенах его города. Складывались из инея. Писались сами собой.

Это не было совпадением.

Этого просто не могло быть.

Андрей тряхнул головой, отгоняя мысли. Потом. Все потом. Сначала — корабль. Сначала — тепло. Сначала — выжить.

Он побежал.

Порт встретил его шумом.

После тишины города этот шум казался почти оглушительным. Крики людей, лай собак, рев двигателей, скрежет металла. У причала стояло несколько судов — рыболовецкие траулера, маленькие катера, баржи. Но главным был «Полярный Скиталец» — огромный (по местным меркам) белый корабль с красной ватерлинией.

«Полярный Скиталец» был старым. Ему было лет тридцать, не меньше. В прежние времена он ходил в арктические экспедиции, собирал образцы льда, изучал течения. Теперь он стал ковчегом — последним убежищем для тех, кому повезло оказаться рядом в правильное время.

У трапа толпились люди.

Андрей пробивался сквозь них, не глядя в лица. Плечом. Локтем. Грудью. Он слышал плач детей, молитвы старух, ругань мужчин. Он чувствовал запах страха — резкий, кисловатый, похожий на запах пота и адреналина.

Наверху, у шлюза, стояли двое в черной форме. Корабельная охрана? Служба безопасности? Какая разница. Важно, что они пропускали людей по списку. Проверяли документы. Сверяли с планшетом.

Андрей протянул руку. В ней была зажата маленькая пластиковая карточка — пропуск, который Сергей сделал ему год назад, на всякий случай. «Для сувенира», — сказал тогда друг. «Ага, для сувенира», — усмехнулся Андрей.

Охранник взял карточку, посмотрел на Андрея, потом на планшет. Кивнул.

— Проходи. Только быстро. Через десять минут поднимаем трап.

Андрей шагнул внутрь.

Тепло ударило в лицо, как пощечина. Не приятное, нет — почти болезненное. Резкая смена температуры от минус пятидесяти до плюс десяти — это испытание для любого организма. Андрей почувствовал, как кожа на лице начинает гореть, как в носу защипало, как глаза наполнились слезами.

Он стоял в тесном коридоре, где пахло мазутом, вареной картошкой и человеческим потом. Вокруг него, прижавшись друг к другу, стояли выжившие. Мужчины, женщины, дети. Все в теплых куртках, все с перепуганными глазами.

Он огляделся.

Сергея нигде не было.

Он прошел дальше. Заглянул в кают-компанию. В машинное отделение. В рубку.

Сергея не было нигде.

— Ты кого ищешь? — спросил старик, который сидел на свернутом канате в углу коридора.

— Сергея. Он работает здесь. Сказал, что поможет мне пройти.

Старик покачал головой. Его лицо было изрезано морщинами, как старая карта. Борода — седая, небритая. Глаза — выцветшие, но живые.

— Серега? Тот, что в рубке стоял? — старик помолчал. — Его нет.

— Как нет? Он звонил мне минуту назад!

— Когда холод накрыл, он выбежал помогать людям. Там, на причале. Сказал, что не может смотреть, как они замерзают. Это было... — старик задумался. — Полчаса назад. Может, час. Я не знаю. Время сейчас странное.

Андрей выбежал обратно к трапу. Охранник преградил ему путь.

— Нельзя. Трап скоро поднимут. Наружу — никого.

— Мой друг там! На причале! — Андрей пытался оттолкнуть охранника, но тот был массивнее, сильнее, и самое главное — спокойнее. Андрей дрожал. От холода? От страха? От отчаяния?

— Если он был на причале полчаса назад, — сказал охранник, глядя ему прямо в глаза, — то он уже не замерз.

Андрей не понял. Охранник пояснил:

— Он уже мертв.

Андрей стоял у иллюминатора и смотрел на город.

Белозерск — так назывался этот город. Маленькая точка на карте, которой больше не существовало. Маленькая жизнь, которая оборвалась сегодня, третьего апреля, в день рождения женщины, которую Андрей никогда не знал.

Город умирал. Андрей видел, как гаснут огни в окнах — один за другим, как свечи на именинной пироге. Как застывают в воздухе клубы дыма из труб. Как тишина накрывает улицы, на которых еще час назад кипела жизнь. А последние люди, что могли идти вереницей стягиваются к кораблю.

Он сжал в кармане тетрадь отца.

«Если портал откроется снова — ищи убежище».

Отец знал. Знал задолго до всех. Знал, что это повторится. Знал, что холод вернется.

И теперь Андрей знал тоже.

Отец был не просто ученым. Он был тем, кто открыл дверь. Тем, кто впустил зиму в мир. Тем, кто убил Елену — свою жену, мать Андрея, женщину, которой сегодня исполнилось бы пятьдесят три.

Андрей закрыл глаза.

Корабль покачивало. Где-то внизу, в машинном отделении, работали генераторы. Где-то рядом — так близко, что можно было потрогать, — гудели люди. Плакали, молились, шептались.

Он открыл глаза. Иллюминатор запотел. Андрей провел по стеклу рукой — и увидел ледяные узоры на той стороне.

Те самые. Рунические. Древние. Страшные.

Они росли прямо у него на глазах.

К нему подошел какой-то незнакомый старик.

— Тот парень, которого ты искал, — сказал он, останавливаясь рядом. — Он был твоим другом?

— Да, — Андрей не обернулся. — Хорошим другом.

— Жаль.

— Я прожил столько зим, — вдруг сказал старик. Голос у него был хриплый, прокуренный. — Календарных. Много раз смотрел, как листья желтеют и падают, как земля покрывается снегом, как реки встают, а потом — как все это тает и начинается сначала.

Старик помолчал. Сплюнул на пол — привычка из тех времен, когда еще можно было плевать на пол, не боясь замерзнуть.

— Но эта — первая настоящая, — продолжил он. — Потому что я не знаю, увижу ли следующую. Понимаешь? Раньше я знал. Знал, что зима кончится. Что будет лето. А теперь? Теперь я просыпаюсь утром и не знаю, будет ли завтра. И это, парень... это меняет все.

Старик развернулся и ушел. Походка у него была тяжелой, неуклюжей — как у человека, который привык твердо стоять на земле, а теперь вынужден шататься на палубе корабля, спасающегося от конца света.

Андрей остался у иллюминатора.

Слова старика эхом отозвались в памяти. Слова отца, написанные в неотправленном письме, которое еще не было найдено — но когда-нибудь будет. Которое еще не было прочитано — но когда-нибудь прочтут.

«Зима бывает разная. Есть зима календарная — с 1 декабря по 28 февраля. Есть зима климатическая — когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. А есть зима настоящая — когда человек перестаёт верить, что за ней придёт весна».

Андрей не знал, верит ли он в весну.

Но он знал, что теперь у него есть цель.

Выяснить, что произошло. Понять, как закрыть дверь, которую открыли двадцать лет назад.

И, может быть — просто может быть — вернуть то, что было потеряно.

Не город. Не мать. Не друга.

Веру.

Веру в то, что весна существует.

Даже когда кажется, что нет.

Первый день настоящей зимы.

Глава 2

Представьте себе ковчег.

Нет, не тот, из Библии, где Ной загрузил по паре тварей и уплыл спасаться от потопа. Там все было понятно: вода поднималась, земля исчезала, а ковчег был просто большой деревянной коробкой, которая держалась на плаву, потому что бог так сказал.

Наш ковчег был сделан из стали и титана. Он не полагался на божественное провидение — у него были дизельные генераторы, ядерный реактор и корпус, способный разбивать лед толщиной с трехэтажный дом. И в отличие от Ноева ковчега, здесь не было никаких животных.

Звери остались на берегу.

Они замерзли вместе с людьми.

«Полярный Скиталец» стоял в заливе Трех Мысов уже сутки, после того как Андрей попал на борт. Стоял и ждал. Чего? Приказа? Сигнала? Чуда?

Капитан был мертв. Командование взял на себя старший механик — седой, прокуренный мужик по фамилии Беглов, который знал корабль лучше, чем свою жену (которую, кстати, потерял три года назад во время одной из волн холода). Он не горел желанием кого-то спасти. Его задача была простой: сохранить судно, сохранить реактор, сохранить тепло. Люди были расходным материалом. Жестко, цинично, но по-своему честно.

Беглов хотел уйти в открытое море сразу, как только первый иней покрыл стены портового склада. Но команда взбунтовалась. Матросы, которые еще вчера чистили палубу и травили анекдоты в курилке, вдруг вспомнили, что у них есть совесть.

— Там люди, — сказал боцман, здоровенный детина с татуировкой якоря на шее. — Наши люди. Мы не можем их бросить.

— Можем, — ответил Беглов. — И должны. Если мы откроем шлюз, холод проникнет внутрь. У нас нет шлюзовой камеры, способной удерживать такие температуры.

— У нас есть гермодвери, — не сдавался боцман. — Есть тепловые пушки. Есть...

— Есть приказ, — оборвал его Беглов. — Мой приказ. Уходим через час.

Боцман посмотрел на Беглова долгим, тяжелым взглядом. В этом взгляде было что-то первобытное — такое бывает у собак, когда они решают, укусить или нет. Потом он развернулся и ушел.

Через десять минут Беглова нашли в капитанской рубке. Он сидел в кресле, пристегнутый ремнями, с открытыми глазами. Он был мертв. Следов насилия не обнаружили. Просто остановилось сердце. Возраст. Холод. Стресс.

А может, кто-то помог ему остановиться. В такое время всякое бывает.

Боцман стал капитаном. И первым же приказом объявил: мы остаемся. Мы спасаем всех, кого сможем. Мы — последний ковчег на этой проклятой земле, и мы не имеем права закрыть двери перед людьми, которые смотрят на нас с надеждой.

Он был хорошим человеком. Наверное, слишком хорошим для этого мира.

Андрей познакомился с ним позже, когда корабль уже отошел от берега, и они болтались в море, как пробка в проруби. Боцмана звали Геннадием, но все звали его Боц — по должности, по привычке, по любви. У него были руки, которые помнили сотни узлов, и глаза, которые видели смерть чаще, чем любой человек заслуживает.

— Ты Корсаков? — спросил он, когда Андрей представился.

— Откуда вы знаете?

— Твой отец... — Боц замолчал, подбирая слова. — Мы возили грузы в его комплекс. До того, как все случилось. Я видел его пару раз. Станный был человек. Умный. Но странный.

— Все ученые странные, — сказал Андрей.

— Нет, — покачал головой Боц. — Он был странный по-другому. Он смотрел на людей так, будто видел сквозь них. Будто знал что-то, чего не знаем мы. И это знание... оно его пугало. Я видел страх в его глазах. А ученый, который боится собственного открытия — это плохой знак.

Боц замолчал, потом добавил:

— Ты на него похож. Только в твоих глазах не страх. В твоих глазах — вопрос. Ты хочешь знать правду.

— А вы? — спросил Андрей.

— Я хочу, чтобы мои люди выжили. Правда подождет.

Через несколько часов после того, как Андрей поднялся на борт, к «Полярному Скитальцу» начали стягиваться оставшиеся люди.

Они шли из города — из Белозерска, который умирал медленно и мучительно. Шли по льду, который сковал залив, по колено в снегу, по щиколотку в ледяной воде, которая хлестала из-под льда, когда он трескался. Шли, потому что знали: корабль — последнее теплое место в радиусе сотен километров.

Они знали про «Полярный Скиталец» всё.

Не потому, что были учеными или военными. Просто слухи ходили. Такие вещи не скроешь — слишком много людей работало на его строительстве, обслуживании, охране. Слишком много языков болтало лишнее.

«Там атомный реактор, — шептались в очередях за хлебом. — Ядерный. Говорят, может работать тридцать лет без дозаправки. Тридцать лет тепла, света и горячей воды».

«Корпус — титан с вольфрамом, — подхватывали другие. — Прошибает лед, как нож масло. Его ни морозом не взять, ни льдом не остановить. Это не просто корабль — это крепость».

«А оборудование? — вступали третьи. — Там компьютеры, датчики, радары. Они могут предсказывать холод. Они знают, где будет безопасно, а где — смерть».

Слухи ввали. И не ввали одновременно.

Реактор действительно был. Компактный, нового поколения, разработанный для автономных полярных станций. Он занимал всего двадцать квадратных метров, но выдавал столько энергии, что хватило бы на небольшой городок. Тридцать лет без обслуживания — это не шутка. Тридцать лет, в течение которых можно не думать о топливе, об угле, о дровах. Просто включаешь рубильник — и есть свет, и есть тепло, и есть жизнь.

Корпус действительно был усилен. Не броней — какая броня на гражданском судне? — но титано-вольфрамовыми пластинами в особо важных местах. Этого добра после Холодной войны осталось много. Зачем добру пропадать? Лучше пустить его на полярные исследования.

Оборудование действительно было уникальным. Комплекс датчиков, способных отслеживать изменения температуры, давления и состава атмосферы в радиусе тысячи километров. Суперкомпьютеры — старые, но надежные — которые анализировали эти данные и строили модели. Система, созданная для изучения влияния вечной мерзлоты на магнитное поле Земли.

А еще — система. Та самая, о которой не говорили вслух.

Она могла генерировать локальные температурные аномалии. Военные тестировали ее для создания «ледяных щитов» — зон экстремального холода, которые должны были блокировать продвижение противника. Представьте себе стену из минус шестидесяти. Через нее не пройдет ни танк, ни солдат, ни даже мысль о вторжении.

Ирония судьбы: система, созданная для войны, теперь могла спасать жизни. Если правильно настроить датчики — можно создать зону тепла. Островок лета посреди вечной мерзлоты.

Но для этого нужны были специалисты. А специалисты остались на берегу. Или замерзли. Или сошли с ума.

Или превратились в лед.

Внутри «Полярный Скиталец» напоминал улей.

Не тот аккуратный, стерильный улей, который показывают в документальных фильмах, где пчелы танцуют и все такое. А настоящий — тесный, темный, пахнущий воском, медом и

страхом, где тысячи существ жужжат в ограниченном пространстве, и каждую секунду кто-то может кого-то ужалить.

Коридоры были узкими — два человека едва расхотились. Лампы горели вполнакала — сэкономили энергию, хотя реактор мог выдать в десять раз больше. Стены из серого металла, местами покрытые ржавчиной, местами — свежей краской, которой матросы закрашивали старые надписи.

Кубрик — так на флоте называется жилое помещение для команды — переоборудовали под временное убежище. Двухъярусные койки, сколоченные на скорую руку из досок и старых матрасов. Между ними — обогреватели. Маленькие, красные, похожие на раскаленные кирпичи. Они гудели и потрескивали, от них пахло горелой пылью, но они давали тепло. Спасительное, почти живое тепло.

В углу — гидропонные установки. Длинные пластиковые трубы, в которых росли салат, огурцы, помидоры. Жидкость в трубах циркулировала с тихим журчанием, и этот звук действовал на людей лучше любого успокоительного. Потому что пока журчит вода в гидропонике — есть еда. А пока есть еда — есть надежда.

Рядом — опреснитель. Важная штука. Море вокруг — соленое, пить его нельзя. А опреснитель берет соленую воду и превращает ее в пресную. Не быстро, немного, но достаточно, чтобы люди не умерли от жажды.

Фильтры воздуха гудели в машинном отделении. Они засасывали воздух из коридоров, прогоняли через угольные и химические фильтры и возвращали обратно — чуть более свежим, чуть менее пахнущим страхом и невымытыми телами.

Система замкнутого цикла. Космический корабль на земле. Ковчег, который никуда не плывет, потому что плыть некуда — весь мир замерз.

Запасы провизии были рассчитаны на полгода.

Консервы. Крупы. Сублимированное мясо. Сухое молоко. Печенье в герметичных упаковках, которое не портилось годами.

Полгода. Сто восемьдесят дней. За это время можно придумать что угодно. Можно найти решение. Можно связаться с другими убежищами. Можно понять, как остановить этот чертов холод.

А можно просто сидеть и ждать, пока кончится еда. А потом — тихо и мирно умереть от голода, глядя на лед за иллюминатором.

Настроение на корабле было соответствующим.

В то время как на «Полярном Скитальце» налаживали быт и распределяли койки, в заливе Трех Мысов происходило нечто совсем иное.

Группа последних выживших пробивалась к кораблю.

Их было около двадцати. Обессиленные, продрогшие, многие без шапок и перчаток — потому что на бегу все теряют, потому что руки немеют и перестают чувствовать, потому что, когда твоя жизнь зависит от каждого шага, ты не думаешь о мелочах.

Впереди шла женщина.

Высокая, поджарая, с короткими седыми волосами, которые торчали из-под вязаной шапки, как провода из разбитого пульта. На ней был старый военный бушлат — черный, потертый, с погонами, на которых когда-то блестели звезды. Теперь погоны были пустыми. Как и мир вокруг.

Ольга Рязанцева. Бывший капитан второго ранга. Ныне — частный охранник. Ныне — просто женщина, которая ведет людей сквозь метель, потому что больше некому.

Она знала этот корабль как свои пять пальцев. Служила на нем старшим помощником десять лет назад. Знает каждый люк, каждый трап, каждую заклепку. Знает, где слабины в системе отопления и где можно спрятать бутылку рома от бдительного начальства.

Знает, что капитан, который сейчас командует, — Боц — хороший мужик. Не гений, не герой, но мужик правильный. Не бросит людей.

Надеется на это.

Потому что, если Боц их не примет — им крышка.

— Быстрее! — крикнула Ольга, не оборачиваясь. — Еще полкилометра!

Она не оборачивалась не потому, что была жестокой. А потому, что знала: если обернется и увидит, кто отстал, кто упал, кто уже не встанет — она остановится. А если она остановится — остановятся все.

Метель была злой. Не той, пушистой, которая бывает в кино, когда снежинки красиво падают на лицо героя. Эта метель била в лицо ледяными иглами, сбивала с ног, выдувала тепло из каждой поры. Ветер выл так, будто кто-то огромный умирал где-то рядом — медленно и очень больно.

Ольга слышала, как позади кто-то упал.

Не обернулась.

— Вставай! — крикнула она, и голос ее прозвучал глухо — ветер уносил слова.

— Не могу... — донеслось сзади. — Ольга, я не...

— Вставай, мать твою! — заорала она. — Мы почти пришли!

Она все-таки обернулась. На снегу лежал молодой парень, лет двадцати пяти. Его лицо было белым — не от страха, а от холода. Белым, как бумага. Как смерть.

Ольга подбежала к нему. Схватила за шиворот. Рванула вверх.

— На ноги!

Парень поднялся. Шатнулся. Упал бы, если бы Ольга не держала.

— Еще сто метров, — сказала она уже тише. — Всего сто. Ты сможешь.

— Я... холодно... — прошептал он. — Так холодно...

— Знаю. Потерпи.

Она повела его дальше. Плечом вперед, лбом в ветер, на последних зубах.

Сзади кто-то закричал. Ольга не обернулась. У нее больше не было сил на обернуться.

У причала царил хаос.

Это было не то слово. «Хаос» звучало слишком по-ученому. Слишком абстрактно. Хаос — это когда у тебя беспорядок на столе или в компьютере зависла программа.

То, что творилось у причала, было адом.

Сотни людей — откуда они взялись? Город был маленьким, всего несколько тысяч жителей. Но казалось, что весь Белозерск собрался здесь, на этой узкой полоске земли между замерзшим морем и замерзающим берегом.

Они лезли на трап. Не шли — лезли. Как крысы с тонущего корабля, только наоборот. Толпа была плотной, злой, обезумевшей от холода и страха. Люди давили друг друга, топтали упавших, били тех, кто оказывался впереди.

Кто-то упал с трапа в воду. Ледяную воду, в которой нельзя продержаться и минуты. Он кричал, барахтался, звал на помощь. Но никто не остановился. Некогда. Каждая секунда промедления могла стать смертельной.

Охрана корабля — человек пять, не больше — пыталась сдерживать толпу. Они стояли вверху трапа, сцепившись руками, как футболисты в стенке. Их отталкивали, пинали, били. У одного охранника была рассечена бровь, кровь заливала глаз, но он не отпускал руку товарища.

— Только по спискам! — орал кто-то из охраны. — Белые списки!

Никто не слушал. Какие списки, когда на термометре минус пятьдесят? Когда дети плачут от холода, а старики падают и не встают?

Толпа была неуправляемой.

Ольга поняла это, когда увидела, как несколько мужчин скинули охранника с трапа. Он упал в воду, вынырнул, закричал — и замерз прямо на глазах. Лед сковал его руки, ноги, лицо. Он стал статуей за тридцать секунд.

Капитан был мертв.

Она узнала об этом от матроса, который выбежал на палубу с перекошенным от ужаса лицом.

— Капитана... — заикаясь, проговорил он. — Толпа... его разорвали.

— Как разорвали? — не поняла Ольга.

— Он пытался объяснить, что корабль не резиновый, что больше ста человек не вместит.

Они... они набросились на него. Приняли за того, кто внедряет белые списки. Его растерзали. Буквально.

Ольга закрыла глаза на секунду. Потом открыла.

— Кто сейчас командует?

— Боц. Он в машинном отделении.

— Передай ему: я беру эвакуацию на себя. Если он возражает — скажи, что это приказ старшего по званию. Меня здесь знают. Я была старпомом на этом корыте.

Матрос кивнул и убежал.

Ольга осталась одна на палубе. Внизу, у трапа, продолжалась резня. Не кровопролитная — холодная. Люди убивали друг друга локтями, плечами, коленями. Убивали, даже не замечая этого. Каждый хотел только одного: подняться. Согреться. Выжить.

Ольга нашла мегафон. Старый, с подсевшими динамиками, но работающий. Она поднесла его ко рту, набрала в грудь побольше воздуха — и заорала.

— Встать в очередь!

Голос Ольги был таким, что ему хотелось подчиниться. Не потому, что он был красивым или мелодичным. Он был железным. Он был голосом человека, который не боится умереть, но который предпочел бы жить и заставить жить других.

— Встать в очередь, мать вашу! По пять человек! Сначала дети и больные! Кто лезет без очереди — будет сброшен в воду! Я сказала — в воду! Вы меня поняли? Я не шучу!

В толпе произошло удивительное. Она замерла. Сотни людей, только что готовых растерзать друг друга за место у трапа, вдруг остановились. Как будто кто-то нажал на паузу.

Ольга не была крупной. Не была вооруженной. У нее не было власти — только бывший чин, который уже ничего не значил. Но в ее голосе была та самая интонация, которую люди бессознательно уважают. Интонация порядка.

— Дети — вперед! — повторила она. — Больные — за ними. Остальные — по пять человек, не толпиться, не бежать!

И толпа послушалась.

Матери протягивали детей охранникам. Те подхватывали малышей, передавали дальше, на палубу, в тепло. Плач, крики, молитвы — но уже не хаотичные, не смертельные. Организованные.

Стариков подсаживали, помогали подняться. Мужчины, которые еще минуту назад дрались за место, теперь поддерживали друг друга. Странное дело — когда появляется порядок, просыпается и человечность.

Ольга стояла наверху трапа и смотрела.

Девять человек. Пятнадцать. Двадцать три.

Она считала их, как овец. Как последних овец в загоне, который вот-вот затопит.

Эвакуация пошла.

Среди выживших Ольга заметила его сразу.

Он стоял в стороне от основной толпы — не потому, что был важным или ждал особого обращения. Просто люди сами обходили его стороной. Инстинктивно. Как звери обходят больного сородича.

Марк Грин.

Физик-теоретик. Когда-то — подающий надежды ученый. Теперь — бледный, худой, с неестественно голубыми глазами, которые, казалось, светились изнутри. Не живым светом — холодным. Ледяным.

Ольга узнала его сразу. Пятнадцать лет прошло, а она помнила каждую черточку. Потому что такие лица не забываются. Такие глаза не забываются.

Они познакомились случайно. Тогда, в прошлой жизни, когда «Полярный Скиталец» еще был военным кораблем, а не плавучим ковчегом. Корабль иногда привлекали для сопровождения грузов в район «Севера-17» — того самого секретного объекта, о котором даже в закрытых документах писали только красным и синим.

Грузы были странными. Ящики, опечатанные сургучом, с маркировкой, которую Ольга не понимала. Сопровождающие — люди в штатском, но с выправкой военных, которые никогда не улыбались и не отвечали на вопросы.

Ольга тогда была старшим помощником. В ее обязанности входило встречать гостей, обеспечивать их безопасность, иногда — показывать корабль.

Группу физиков она сопровождала на экскурсию по отсекам. Скучное мероприятие — ученые, как правило, смотрели сквозь стены, думая о своих формулах, и только вежливо кивали на комментарии.

Но Марк был другим.

Ему тогда было лет двадцать пять — молодой, полный энтузиазма, с горящими глазами и быстрой, сбивчивой речью. Он рассказывал Ольге о портале, не смотря на запрет, о новой эре космических путешествий, о том, что человечество стоит на пороге величайшего открытия со времен расщепления атома.

— Представляете? — говорил он, размахивая руками. — Мгновенное перемещение между звездами! Мы сможем достичь Альфы Центавра за секунду! Мы откроем другие миры, другие цивилизации! Это будет революция!

Ольга слушала и улыбалась. Не потому, что верила — потому что молодость и энтузиазм всегда заразительны. Она тогда еще не знала, что такое настоящий холод. Не чувствовала его на своей шкуре.

— А вы не боитесь? — спросила она тогда.

— Чего? — удивился Марк.

— Что вы откроете то, что не следовало открывать. Что за дверь окажется не рай.

Марк засмеялся. Звонко, по-мальчишески.

— Ада не существует. Это все религия. Есть только физика. А физика — это точная наука. Если мы правильно рассчитали уравнение — ничего плохого не случится.

Она хотела сказать ему, что уравнения — это просто уравнения. Что жизнь сложнее формул. Что иногда случайность играет с тобой такую шутку, которую не предскажешь никакой математикой.

Но не сказала.

Пожалела.

Потом была авария.

Ольга узнала о ней случайно — из обрывков разговоров, из закрытых приказов, из странных взглядов, которыми обменивались военные, когда думали, что никто не видит.

Первая авария. Потом — вторая, через несколько лет. Корсаков пытался все исправить. Он верил, что сможет контролировать портал. Что предыдущие ошибки — это просто недочеты, которые можно устранить.

Он ошибся.

Во второй аварии погибли почти все.

Ольга не знала подробностей — ей не полагалось. Она была всего лишь старшим помощником на корабле, который возил грузы. Не ученым. Не военным разведчиком. Просто моряком.

Но она слышала, как люди говорили о холоде. О разрыве пространства. О том, что холод, который вырвался наружу, был не просто холодом — он был чем-то живым, разумным, злым.

Марк остался единственным выжившим.

Как ему это удалось? Никто не знал. Может быть, он был в другом отсеке. Может быть, его защитила какая-то случайность. Может быть, сам портал пощадил его — потому что признал своим.

Его отстранили от работы. Объявили «неблагонадежным». Сослали подальше от секретных объектов — в Белозерск, в никуда, в забытое богом и людьми место.

Ольга тогда пыталась задать вопросы. Ее послали.

— Не лезь, — сказал ей тогдашний капитан. — Это не твоего ума дело. Забудь про Север-17. Забудь про портал. Живи своей жизнью.

Она не послушалась. Тогда её списали на берег, через приказ. Устроилась в частную охрану. Охраняла склады, магазины, иногда — странных людей, которые приезжали в город и так же странно исчезали.

Марка она больше не видела.

До сегодняшнего дня.

Теперь он стоял перед ней — постаревший, осунувшийся, с неестественно голубыми глазами, в которых застыл отблеск вечной мерзлоты.

— Здравствуй, Ольга, — сказал он. Голос был тихим, безжизненным. Как будто говорил не человек, а его запись.

— Марк. — Она не знала, что еще сказать. Слишком много лет прошло. Слишком много всего случилось.

— Ты спасла этих людей, — кивнул он в сторону толпы. — Молодец.

— Дело нехитрое. Надо было просто навести порядок.

— Порядок? — Марк усмехнулся. — Ольга, ты не понимаешь. Порядка больше нет. Никакого. С того самого момента, как мы открыли портал, порядок умер. То, что ты видишь вокруг — это хаос. Чистый, первозданный хаос. И мы не можем его контролировать. Мы даже не можем его понять.

— Ты знаешь, что произошло? — спросила она. — Знаешь, почему холод возвращается?

Марк посмотрел на нее. Его глаза — эти жуткие, светящиеся глаза — стали еще ярче на секунду.

— Знаю, — сказал он. — Но ты не захочешь это услышать.

— Попробуй.

— Портал не открыли. Его случайно обнаружили. Он всегда существовал. Вселенная сама запечатала его миллиарды лет назад. А мы... мы просто сняли печать. И выпустили то, что должно было оставаться запертым навсегда.

— Что именно?

— Совершенно другой мир. Место, где нет времени. Где нет тепла. Где нет жизни. И оно... оно хочет выйти наружу. Не потому, что у него есть цель или разум. А потому, что такова его природа. Холод стремится к теплу, как вода стремится вниз. Это просто физика.

— Тогда почему не равномерно? Почему рывками?

Марк пожал плечами.

— А ты знаешь, почему молния бьет в одно место, а не в другое? Почему ураган проходит одним городом стороной, а другой сносит до основания? Это хаос, Ольга. Сложные системы. Нелинейные процессы. Мы можем описывать их, но не можем предсказывать.

— Ты поэтому выжил? — спросила она. — Потому что ты часть этой системы?

Марк не ответил.

Он просто отвернулся и пошел в сторону кубрика, оставляя за собой легкий, едва заметный след инея на металлическом полу.

Ольга смотрела ему вслед и чувствовала, как по спине бегут мурашки. Не от холода. От страха.

Потому что она знала: Марк сказал не все.

Он скрывал что-то важное.

Что-то страшное.

Во время эвакуации Ольга заметила нечто пугающее.

Сначала она подумала, что ей показалось. Мало ли, усталость, стресс, недосып — мозг начинает играть в игры, которые ему не по силам.

Но потом она увидела это снова.

Несколько человек — трое, может быть, четверо — стояли в толпе, но не дрожали.

В минус пятьдесят все дрожат. Это рефлекс. Организм пытается согреться за счет мышечных сокращений. Даже если ты в шубе и валенках, даже если ты пил горячий чай пять минут назад — ты все равно дрожишь. Мелко, противно, неконтролируемо.

Эти люди не дрожали.

Они стояли неподвижно, как статуи. Их лица были спокойными — слишком спокойными для людей, которые находятся в шаге от смерти. Глаза — пустыми. Не мертвыми — пустыми. Как будто внутри них никого не было.

И вокруг них... вокруг них нарастал иней.

Ольга видела, как ледяные узоры ползут по их одежде, по коже, по волосам. Не от холода — от них. Как будто холод исходил изнутри. Как будто эти люди сами стали источником зимы.

Один из них — мужчина лет сорока, в драповом пальто и кепке — вдруг повернул голову и посмотрел прямо на Ольгу.

Она хотела отвести взгляд, но не смогла. Что-то в этих пустых глазах держало ее, гипнотизировало, не давало пошевелиться.

Мужчина открыл рот. Его губы были синими, почти черными. Из рта вырвалось облачко пара — не белого, а какого-то странного, фиолетового оттенка.

И он прошептал:

— Он идет.

Голос был нечеловеческим. Не потому, что звучал механически или искусственно. А потому, что в нем не было никаких интонаций. Ни страха. Ни боли. Ни надежды. Пустота. Такая же, как в глазах.

— Кто идет? — спросила Ольга, хотя боялась ответа.

Мужчина не ответил.

Его лицо начало покрываться трещинами. Тонкими, как паутина, ледяными трещинами. Они разбегались от глаз, от носа, от губ, как ветки дерева.

Он еще пытался что-то сказать — но вместо слов из его рта вырвался только хруст замерзающей слюны.

Через минуту он рассыпался.

Буквально. Его тело раскололось на куски, как перезревшая дыня. Но не кровавые — ледяные. Осколки застучали по металлическому настилу палубы, разлетаясь в разные стороны.

Люди вокруг закричали. Кто-то отшатнулся, кто-то упал, кто-то начал креститься и молиться, хотя раньше ни в какого бога не верил.

Ольга стояла и смотрела на осколки.

Она видела глаз, лежащий отдельно от лица. Она видела пальцы, которые еще минуту назад сжимали край пальто. Она видела ледяное сердце — оно билось. Несколько секунд. Медленно, тяжело, как барабан похоронного марша.

Потом замерзло и расколосось.

Ольга приказала изолировать всех, кто проявлял подобные симптомы.

На корабле провели тщательный осмотр. Проверили каждого — от мала до велика. Измеряли температуру, смотрели глаза, слушали пульс.

Других «носителей» не нашли.

Или они хорошо прятались.

Или их не было с самого начала.

Или... они были, но не захотели выдавать себя.

Ольга не знала, что хуже.

Когда последняя группа выживших поднялась на борт, Ольга лично проверила герметичность люков.

Она прошла по всем отсекам, заглянула в каждый угол, проверила каждое соединение. Ее пальцы, еще не до конца согревшиеся после улицы, ощупывали резиновые уплотнители, задвижки, рычаги.

Все было в порядке.

Корабль был герметичен. Холод не проникнет внутрь.

По крайней мере, так она думала.

Боц стоял рядом, молчал и курил. Он не курил уже лет пять, но сегодня достал старую пачку «Примы», забитой еще до Открытия. Табак был сухим, рассыпался в пальцах, но Боц курил с такой жадностью, будто это была его последняя сигарета.

— Трап пока не убирать, — сказала Ольга.

— Зачем? — спросил Боц. — Выживших больше нет. Мы и так набрали почти двести человек. Корабль трещит по швам.

— Могут подойти другие.

— Откуда? Город мертв. Ты видела, что там творится? Люди замерзают на ходу. Превращаются в лед. А некоторые... — он кивнул в сторону убранных осколков, — некоторые превращаются в нечто похуже.

— Я знаю, — сказала Ольга. — Но мы не имеем права закрыть дверь, пока есть хоть один живой человек за бортом. Мы не боги. Мы не можем решать, кому жить, а кому умирать.

Ольга промолчала.

Она знала, что Боц прав. В этом и была самая страшная правда нового мира: ты больше не можешь спасти всех. Ты можешь спасти только некоторых. И каждый раз, когда ты выбираешь, кого впустить, а кого оставить, ты убиваешь часть себя.

— Мы оставим трап до утра, — твердо сказала она. — Если никто не придет — уберем.

Боц кивнул. Докурил сигарету, затушил о подошву сапога.

— До утра, — согласился он.

Андрей не спал этой ночью.

Он сидел в кубрике, прижавшись спиной к холодной стене, и смотрел на спящих людей. Двести человек в одном помещении — это много. Даже для такого корабля, как «Полярный Скиталец». Они лежали на койках, на матрасах, на полу, на свернутых куртках. Они спали в обнимку друг с другом — не от нежности, от тепла.

В кубрике было душно. Пахло потом, мокрой шерстью, консервами и страхом. Но никто не жаловался. Все понимали: тепло — это жизнь. И то, что сейчас они ощущают это тепло, — уже чудо.

Андрей держал в руках тетрадь отца. Он открыл ее на первой странице и начал читать. Там были не только чертежи и формулы. Там были записи. Отрывистые, нервные, написанные в разное время разными чернилами — иногда синими, иногда черными, иногда простым карандашом, который почти стерся.

«5 марта. Очередной сбой. Поле нестабильно. Лена предлагает увеличить мощность — я против. Чувствую, что мы играем с огнем. Но начальство давит. Сверху спустили приказ: до конца месяца запустить полномасштабный эксперимент. Они хотят результат. Им плевать на риски».

«12 марта. Сегодня видел сон. Будто я стою в пустоте. Абсолютной пустоте. Ни света, ни звука, ни времени. И я знаю, что это — другой мир. И он зовет меня. Не голосом — самим своим существованием. Он хочет, чтобы я вошел. Чтобы я стал его частью. Проснулся в холодном поту. На стенах — иней».

«20 марта. Лена добровольно вызывается войти в портал. Она говорит, что это безопасно. Что датчики показывают стабильность. Что мы должны знать наверняка. Я пытаюсь отговорить ее, но она не слушает. Она всегда была упрямее меня. Я боюсь, что больше никогда ее не увижу. Но не могу ей запретить. У нас нет права запрещать друг другу. Мы ученые. Мы должны идти до конца».

«22 марта. Лена вошла в портал. Я не спал трое суток — следил за показаниями. Она передала сигнал, через лазерный передатчик, который на тестах показал, что отлично работает в портале: «Все в порядке. Я вижу свет». Свет. Это невозможно. Там нет источников света. Нет энергии. Нет ничего. Значит, она врет? Или ее заставляют врать? Или это не она? Или она вышла с другой стороны портала, в месте куда он вёл? Голос был ее, но интонации... чужие. Мне страшно. Я не должен был ее отпускать».

Дальше записи обрывались.

Следующая запись была сделана спустя два года. Другим почерком — более твердым, более злым.

«Портал открыт. Холод вышел. Мир умирает. Я мог бы остановить это, если бы знал как. Но я не знаю. Я создал чудовище, но не создал намордника. Елена мертва — или стала частью этого чудовища. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я только знаю, что должен написать это письмо. Для него. Для сына. Чтобы он понял. Или не понял. Какая разница?»

Андрей закрыл тетрадь.

Глаза жгло. Не от слез — от бессонницы.

Он посмотрел в иллюминатор.

Там, за толстым стеклом, была темнота. И снег. И ветер, который выл так, будто оплакивал всех, кто остался на берегу.

Отец знал правду.

И эта правда была страшнее, чем любой холод.

Андрей поклялся себе, что найдет ответы. Что бы ни случилось. Даже если для этого придется пройти через сам портал. Даже если это убьет его.

Потому что он должен знать.

Должен понять.

Должен закрыть дверь, которую открыл его отец.

Иначе все эти смерти — мамы, друга Сергея, того парня на тротуаре, той женщины с ребенком — будут бессмысленными.

А бессмысленная смерть — это то, что Андрей Корсаков не мог вынести.

Даже в самую долгую зиму.

Глава 3

Порядок — это забавная штука.

Вы думаете, что порядок — это когда все лежит по полочкам, когда есть расписание, когда люди знают, что делать и когда делать. Вы думаете, что порядок — это что-то скучное, бюрократическое, чуждое живому человеческому существу, которое хочет свободы и хаоса.

Вы ошибаетесь.

Порядок — это когда ваш ребенок жив. Когда у вас есть еда на завтра. Когда вы ложитесь спать и знаете, что проснетесь утром, а не превратитесь в ледяную статую посреди ночи. Порядок — это иллюзия контроля над тем, что контролю не поддается. И в мире, где каждая секунда может стать последней, люди цепляются за эту иллюзию, как утопающий за соломинку.

Ольга Рязанцева знала об этом лучше других.

Она видела порядок и хаос во всех их проявлениях — от армейских уставов до гражданских бунтов. Она знала, что хаос — это не когда люди бегают и кричат. Хаос — это когда люди перестают верить, что кто-то знает, что делать.

Поэтому она ввела военный режим в первые же часы после того, как последняя группа поднялась на борт.

— Слушайте меня, — сказала Ольга, стоя в центре кубрика. Ее голос был негромким, но каким-то внутренним чутьем люди понимали: эту женщину лучше слушать. — Сейчас я расскажу вам правила. Правил будет немного. Но они будут железными. Тот, кто их нарушит, полетит за борт. Я не шучу и не преувеличиваю. У нас нет тюрьмы, нет карцера, нет времени на разбирательства. Нарушил правило — умер. Все поняли?

В кубрике было тихо. Слышно было только гудение вентиляции и чей-то сдавленный кашель.

— Первое, — продолжила Ольга. — Распределение по отсекам. Вы получаете номер каюты или место в общем кубрике. За пределами своего отсека вы находитесь только с разрешения вахтенного. Не шатайтесь по коридорам, не лезьте, куда не просят. Корабль — это организм. Не мешайте ему работать.

— Второе. Дежурство. Каждый дееспособный человек — мужчина или женщина, неважно — заступает в наряд. Кто-то будет чистить гидропонику, кто-то следить за реактором, кто-то раздавать еду. Работы хватит всем. Бездельников не кормим. Бездельников высаживаем на лед.

— Третье. Учет. Продовольствие и энергия — наша главная ценность. Запасы консервов будут выдаваться строго по норме. Две банки в день на человека. Сухпайки — по одной. Вода — по литру. Горячая вода — по расписанию, пятнадцать минут на человека. Экономьте. Мы не знаем, сколько нам еще здесь торчать.

Ольга обвела взглядом притихших людей. В их глазах было разное — страх, надежда, недоверие, облегчение. Но не было паники. Это был хороший знак.

— У кого-то есть вопросы? — спросила она.

Руку поднял мужчина лет пятидесяти, в очках с треснувшей дужкой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.